

Глеб Иванович Успенский

Наблюдения одного лентяя



Глеб Иванович Успенский
Наблюдения одного лентяя
Серия «Разоренье», книга 3

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=664945

Аннотация

В повести «Наблюдения одного лентяя» ... отразились впечатления, вынесенные Успенским из поездки в Тульскую губернию летом 1870 года и из трехмесячного пребывания в том же году в Саратовском крае у народника П. В. Григорьева, с которым он вместе разъезжал по деревням и беседовал с крестьянами. ... Широкие хронологические границы повести (от 30–40-х годов до 60 – начала 70-х годов) позволили писателю наглядно показать тщетность всех упований, возлагаемых на «новый порядок»: «новый порядок», так же как и старый, «крепостной порядок жизни», враждебен народу, гнетет и роняет человеческую личность.

Содержание

Глава первая	4
I	4
II	15
III	37
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Глеб Иванович Успенский

Наблюдения одного лентяя¹

(*Очерки
провинциальной жизни*)

Глава первая

О моем отце, о «порядке», о моей лени и о прочем

I

«...У ворот нашего дома и до настоящего времени сохранилась скамеечка, на которой по вечерам сиживал мой отец и бранился. Не было человека добрее его, и не было такого неусыпного ворчуна, как он. Ворчанье и брань, сыпавшиеся из его уст на самые разнородные предметы, не всегда были ясны обывателям подгородной слободки, где жил отец, содержа фруктовый сад. Смысл речей моего отца, чувствовавшего потребность касаться предметов, о которых отвык рассуждать простонародный ум, затемнялся собствен-

ным его невежеством, необразованием, водкой, непрестанной его спутницей, и некоторою долею того русского чудачества, которое является у простого человека, зачужавшего в своей голове необыденный ум. Ввиду всего этого нетрудно понять, что отца моего вся слобода считала за тронувшегося, сумасшедшего, чудака и пьяницу. Мне, шестилетнему слобожанину, тоже не была тогда понятна отцовская речь; но, не понимая ее, я любил в этой речи и вообще в разговоре отца его манеру, постоянная бойкость и насмешливость которой невольно убеждали меня, что он прав, что человек, заспоривший с ним, ушел от него в дураках.

Теперь, когда мне много раз приходилось думать о моем детстве, об отце, я выучился отчасти понимать его запутанные речи и нахожу, что, несмотря на разнообразие предметов, которых касалась эта речь, и ее неизменно бранный тон, – в ней постоянно слышалось слово «душа», постоянно тосковалось «о душе», о ее погибели, о том, что ее забыли. Рекомендую моего родителя, я считаю нужным остановиться именно на этой общей черте его ругательств, потому что она много значит для меня, потому что она выходила не из простой болтовни.

– Плевать я хотел на твои богатства! – кричал мой отец, сидя на лавочке в одной рубашке и обращая речь к богатому соседу дворнику, который вечерком пришел посидеть с ним *так, просто.*

– Потому, – продолжает отец: – в нынешнее время некуда

мне и деть-то его по душе... Видишь, что ли?

– То-то, у тебя не густо, так ты и «не надо!» – с иронией бубнит сосед; но отец прерывает его на первом же слове.

– Дубина моздовская! Видал я деньги на своем веку, не твоим чета!.. Пропил я их, деньги-то, нищий теперь, а давай ты мне их, так не возьму-у, да-а!.. Не надо мне их, потому душа не может по нонешнему времени сделать мне указания, куда их деть. Разучилась она, душа-то наша, о себе... Ты вот что мне ответь, – вдруг с большим ехидством в фигуре и голосе восклицает отец: – отвечай, на какой рожон ты деньги копишь? Зачем тебе тыщи? Давай ответ!

– Тыщи-то?

– Д-да! Пятьдесят лет ты деньгу набивал, полсотни годов ты бился, можно оказать, как собака... Как ты теперича их истратишь-то с толком, «по душе»? Отвечай мне на это: тогда я с тобой могу поддерживать разговор.

– Ах ты, башка, башка! – удивляется купец. – Не истратить денег? Чай, и ты на это дело мастер был... Ты наживинко вот!

– Тебе, дубине, делают вопрос, так ты давай ответ! Что ты хвостом-то вертишь? Нешто я о наживе говорю? Махлак ты этакой! С умом ли можешь ты их истратить по нонешнему вр-ремени?.

– Проломная голова! – горячится купец. – Есть у тебя дети-то, у шишиги?

– Есть дети. Ну?

– Ну и у меня есть!

– Ну?

– Что еще? Что нукаешь?.. Для детей наживаю... Гвоздь каленый!

– Для дет-тей? – переспрашивает отец и, ударив себя по колену, произносит: – Пач-чему? Почему для детей?

С злейшей иронией в губах смотрит он в сторону, прислушиваясь к ответу собеседника, и чувствуется, что у него уже есть наготове вернейшие средства разбить этот ответ в пух и прах.

– Не отчитывали еще тебя?.. – трунит собеседник.

– Нет еще, не отчитывали! – самодовольно потряхивая головой, произносит отец. – Тебя вот сначала от одури отец дьякон отчитает, тогда уж и меня... А ты ответ-то дай!..

– Надо бы, право, надо бы тебя отчитать...

– Давай ответ на вопрос!.. Спрячь хвост-то – будет вилять!.. Давай-ко ответ-то... пивной ты котел!

– Ответ тебе? – горячится купец, придвигаясь к отцу.

– Д-да! Ответ! Язык имеешь?

– Имею я язык, крыса эдакая! Им-мею! Ответ, что ли, тебе надо, Искарлоту?

– Ответу давай, толстомясая дурь!

– На тебе ответ, купорос ты астраханский, н-на! В лаптях я пришел в город, вахлаком со щепки начал, семью имею, дом имею, деньги им-мею... Зачем? Да хоть дочь я свою из деревенских девок выведу в люди-и!

– За благородного? – быстро вставляет свое словечко отец.

– А нешто нет, харя балаганная, неужто нет?.. Заткнул ли я тебе глотку, Иуде? Получил ли ты ответ?..

– Тебе ли, толстомятому, заткнуть мне глотку?.. Ах ты, гнилое ты колесо! Разевай рот шире, я тебе затыкать глотку буду... Я тебе заткну, дубью безмозглому!.. Я-а-а!..

И действительно, мудрено было «заткнуть рот» моему отцу. Быть может, частью под влиянием желания оправдать свое разоренье и бедность, он тотчас же переносил вопрос о разумном употреблении богатств на практическую почву и принимался представлять из тогдашних нравов такие картины бессознательности жизни, считаемой счастливой; что действительно оказывалось совершенно ненужным «биться» и наживать, чтобы завоевать это счастье. Купец Калашников уж кажется богат, уж кажется почтен и награжден начальством, а пьет не хуже мастерового и ездит к слободской солдатке Акульке, целует у ней руки, тогда как у него есть красивая жена с миллионами. А почему? – Душа тоскует. Для нее-то у Калашникова нету занятия, а медали ей не нужны... А дочь дворника, имеющая выйти за благородного? Что она может получить взамен отцовских, трудом нажитых, богатств? – мужа пьяницу от скуки, гулянье с зевотой да способность спать или плакать? Кругом в жизни было много явлений, в которых не было видно ума-руководителя, и отец ими-то и донимал собеседника.

Лежа подле спорящих в траве с каким-нибудь щенком в руках, я с удовольствием вижу, что богачу-купцу, должно быть, плохо приходится от моего отца, и рад этому. Мне смешно видеть, что с каждым словом в отпор моему отцу он злится более и более, говорит урывками, словно его бьют по спине, лицо его делается весьма глупым и смешным, вообще в нем является сходство с человеком, который ходит впотьмах, спотыкается, разбивает себе лоб и кроме ругательств не имеет другой защиты.

– Ну, в головы ты вылезешь, – кричит отец, – мундир на тебя, дубину, наденут, ну? – веселей тебе от этого?..

– А то нет?..

– Медаль на тебя навесят? а дальше что?..

– Ну другую? Ну?

– Ну, а дальше что? Надел ты, дурак, мундир, нацепил медали, послы к тебе персидские приехали, к ослу лавочному, барана ты им зарезал, тысяч десять в утробу ты им всыпал, а потом что?.. Ведь снимешь же ты, мочалка глупая, мундир-то! И медали ты положишь ведь когда-нибудь в сундук; что же для твоей дурацкой души останется? Для души-то для твоей что? Сам про себя-то ты с чем останешься? Отвечай мне!

– Голова ты безмозглая! Вот тебе мой ответ.

– Сам ты – крыса бесхвостая, да не в том у нас с тобой, невежей, разговор идет. Уши-то твои слышат ли мои слова? Ведь ты на крышу полезешь с помелом голубей гонять! Для

души-то у тебя нет ничего!.. Пузырь! Ведь это тебя нарочно исказили. Ведь это тебя нарочно приучили, чтобы душу у тебя вынуть, а ты и не видал этого? Башка-башка! Говорю я тебе, ежели богатств твоих послы персидские не сожрут, ежели со страху ты их начальству не рассуешь, да ежели. дети твои, ослы лабазные, с цыганками не пропьют, что ты станешь с ними делать? Скажет ли что тебе душа? Есть ли у тебя душа-то? Отвечай-ко мне на это?

– Пес я, что ли? – кричит собеседник.

– Не пес, а пузырь! – наклоняясь к собеседнику, язвительно шепчет отец. – Пузырь пустой. Пе-ес! Пес свое дело знает. Что ему надо, он исполняет, на нем шкура своя, а вот ты-то, друг ты мой, сам про свою душу ничего не имеешь. Вот что, ангелочек мой! Что мы с тобой без толку орем? Надо говорить честно, благородно... Ругать, что ли, я тебя собрался? Велика радость! Эко собаку бешеную нашел! Не про тебя одного говорю, все мы, друг ты мой, обездушили!.. Все! – Вот что!

Ласковый тон и тихий стих, осенивший отца, отнял у собеседника последнее средство обороны – ругательство; он сидит, как ступа, изредка потряхивает головой и что-то бурчит. А отец, все более и более охватываемый серьезностью разбираемого или, вернее, разругиваемого вопроса, продолжает говорить все с большей искренностью и задушевностью.

– Что нам воевать-то без ума? Эх, куманек дорогой! Не в

тебе в одном души нету, а во всем народе ее не стало. Вот что, друг! Видал ли в горнице у нас портреты родителей моих?

– Видал я твои портреты...

– Седенького старика-то помнишь, там висит, ай нет?

Ну вот это, друг сердечный, прадедушка мой, царство ему небесное! Вот у него была душа, да и своя, не заказная! Да! Не на заказ сделана, а своя! Да, друг любезный, своя! Был он, видишь ты, раскольник и свой скит имел за Волгой, в лесах, да и так, пожалуй, было, что и толк особенный он сам от себя выдал – да-а! Что ж, я тебе скажу? Ведь он и торговал и деньгу наживал; ведь и он, друг ты мой, аршинничал, да только не по-нашему! Ты-то вот, не в обиду тебе говорю, не знаешь, зачем деньги-то тебе, а он знал. Он, братец ты мой, руками в лавке, а душой в своем месте. Руками-то деньги принимает, а душа-то уж ему указание дает. Стало быть, он знал – что зачем. Мерин у него в тыщу рублей, рысаки тысячные были, и это неспроста! Именно ему тысячный рысак был надобен, потому начальство за ним на тройке погнало, а он попа-расстригу везет, так ему надо угнать от начальства-то. Видишь вот! Он, поп-то, хоть и вор и разбойник, а ежели настоящую очистку ему сделать, беглый солдат окажется, да душа этого требует – «спасай», «не поддавайся!» Глупы ли, умны ли были старички, а как-никак умели жить *своей* совестью. А в нынешнее-то время и нету ничего! Все и разучились так-то жить. Да-а! Всё исполняем, всё исполняем, а для совести-то

и нет ничего! Мерин-то вот у тебя будет не дешевле, как ты-щу, а ходу-то тебе с ним нету? Да-а! Ну куда ты с своим меринком сунешься? Посадил ты свою жену на него, пять молодцов его держат под уздцы, а выпустили они его – и некуда вам! И ходу-то всего вам с меринком два вершка, только на гулянье! Разлетелись вы, следственно, как дураки набитые, и домой тоже такими же дураками воротились. Окроме как спать, нету вам никакого интересу! Ты с супругой с одури-то храпеть завалился, мерин твой одурелый в конюшне жрет не в свою голову, и все вы – дурак на дураке!

– Ты умен! – огрызается собеседник, заметив в последних словах отца раздражение.

– Я-то, брат, умен! – быстро впадая в обычный ругательный тон, говорит отец. – А вот ты-то, куманек, не в большом уме, уж извини! Ты-то, брат, дурак московский! Как говорить-то мне с тобой, с пузырем бычачьим? Ах вы, идола, идола! К чему вас, идола, приучили?

– Собака ты бешеная! – собираясь уйти от греха, бурчит купец; но отец не обращает на него внимания и продолжает:

– И уж изуродовали же глупых только вас, на чужую на потеху! Ишь ведь что им в голову-то набухали, пустозвонам несчастным: персидского ему дай посла! Свинья ты, свинья! Дочь свою за благородного в гроб желаю вбить; сыновей моих цыганкам отдать, а сам желаю на старости лет голубей гонять да водкой увеселяться! Ах вы, мордастые дураки!

– Пес, поганый!

– Ах вы, черти ободранные! Ишь им что надо, а? Пятьдесят лет народ надувает, аршинничает, душу губит, зачем?

– Поди ты к шуту!

Собеседник положительно уходит.

– Зачем? постой, куда? Погоди, я тебе совет дам!

– Провались ты, чумовой...

– Погоди! – кричит отец, вскакивая с лавки и как бы желая пуститься вдогонку. – Масла ведра три в сундук-то с деньгами вылей. Эй! Чуешь! в бумажки его полыхни, масло-то, чтоб не сопрели. Да тогда и ложись на сундук спать...

– У кого язык-то наваривал? В какой кузне? – тоже кричит собеседник, остановившись в нескольких шагах.

– Тут у знакомого кузнеца наваривал... А что?

– То-то он у тебя дюже наварен, – язык-то... Много ли дал?

– За наварку-то? Я за наварку дорого дал, тысяч с полсотни ушло. Али хорошо?

– Провались ты пропадом!

– А то воротись, я бы с тобой еще потолковал... Эй! сосед!

– Мошенник! – вопиет собеседник и скрывается за угол.

– Ай не любишь? Ха-ха-ха! – издевается отец и с сияющим победою лицом зовет меня.

– Вот они, богачи-то, – посадив к себе на колени и поглаживая мою голову, говорит он. – Ванятка! чуял, что ль? Крикни ему, дураку: «эй, воротись, мол! тятенька, мол, тебя еще раз-другой хорошенько наколпачит». Крикни ему!

В отце, в его речах, в его лице столько побеждающей правды, что, глядя на него и слушая его, едва ли можно когда-нибудь получить аппетит к богатству.

II

«Жизнь моего отца вовсе не так бедна впечатлениями, чтобы его бедный, заброшенный и неразвитый ум не получил потребности раздумывать вообще о жизни человеческой и ценить в ней только свободное развитие нравственных движений души. В самом деле, он недаром указывал на портреты своих предков. Прадедущка его, а мой пращур, был изображен на портрете (портрет этот цел у нас) масляными красками, худеньким старичком с живыми, внимательными глазами, с подстриженными на лбу волосами, лестовкой² на одной руке; на затылке его одета какая-то скуфейка, на плечах мужичий кафтан. В оригинальности его костюма, взгляда, с помощью кой-каких сведений, рассказанных отцом, видно, что человек жил, слушаясь собственных убеждений, которые, как бы ни были они нелепы, охватывали мельчайшие подробности личной жизни вплоть до мерина и были в полном согласии с общественной его деятельностью. Худо ли, хорошо ли, но во всех и домашних и общественных делах у него работала мысль, что дорого даже с механической стороны; тут наверное была жизнь. Но «порядок», гонявшийся за ним по лесам, разорявший его часовенки и кельи, с целью наполнить его голову более здоровыми понятиями, вроде, например, того, что пожары нужно заливать из пожарных

² *Лестовка* – особые четки староверов.

труб, что квартальному нужно давать дань и т. д., внедряя какую-нибудь из подобных идей, уничтожал зародыш самостоятельной мысли. Я весьма сожалею, что в нашей портретной галлерее недостает портрета моего прадеда, а есть пращур и дед. Но если я представлю себе постепенное развитие «порядка» и предположу, что «порядок» поработал во времена прадеда в свою пользу не мало, то и тогда мне будет отчасти понятна разница между фигурой начальника нашего рода и фигурой его ближайшего потомка. Дед изображен уже не в мужичьем кафтане, а в длиннополом немецком сюртуке, к которому недостает только цилиндра на вытянутую колом голову, чтобы быть вполне уродом. Потрудитесь отыскать в этих глазах, выглядывающих с самого верху узкого лба, почти под пробором жирных волос, какое-нибудь подобие самостоятельной мысли прадеда: – ее нет и следа. Это – церковный староста, которому генерал подал руку и осчастливил, или гражданин, с двумя головами сахару подмышкой ожидающий начальника, чтобы поздравить и попросить прощения. Для этого человека, по всей вероятности, уже коротко известно, что назначение человеческой жизни – поднесение хлеба-соли на блюде, плошки, дани, медаль и т. д. Отцу моему, принимая в расчет быстрые успехи прогресса, предстояла еще большая возможность превратиться в настоящего лавочного осла со специальной целью надуть и грабить сограждан. Но случилось так, что уродился или «вышел» он не в отца, а в прадеда; лет с шестнадцати стала надоедать ему

лавочная жизнь, и в голове забродило бог весть что. Стал он читать книжки, захотелось ему писать стихи, и он выводил каракули, начинавшиеся словами: «скучно, скучно молодцу, да скучно мне!» После него осталась тетрадка, где переписаны разные стихотворения под общим именем: «Скука». «Приемлю лиру в руки и горесть разгоняю (начинается стихотворение), но протяженны звуки рождают горесть паки». Далее говорится, что даже и «млекосочны маки» болезни сей не уменьшают. Вообще скука угнетала его, не знавшего, за что ухватиться; от писанья стихов (грамоте его выучила бабка; мать, которой он лишился очень рано, была уже неграмотна) он вдруг предавался мечте поступить в монахи, да так, чтобы зарыться в землю по шею, навек, или сделаться силачом. Пока был жив отец, малый колобродил потихоньку; но по смерти отца, после которого, наравне с двумя другими братьями, получил наследство, не вытерпел скучного житья и стал колобродить въявь. Прежде всего, как за самое ближайшее и общедоступное от скуки средство, взялся он за пьянство.

Началось с того, что поехал он из города к кому-то на свадьбу в село Дубки, а его завезли в Дубы; надо было зайти в кабак расспросить про дорогу. А в кабаке в это время сидел дворовый человек и играл на флейте. Через полчаса отец уже угощал его, узнал, что это и знаток своего дела и «душа», просил выучить на флейте и готов был в ножки ему поклониться. Недели две дворовый человек учил его музыке, по-

лучая и угощение и деньги за «обучение амбушуру»³ и наставляя своего питомца в науке жизни. Как они очутились в Нижнем, долго ли там пробыли и что делали – этого отец никогда порядком припомнить не мог; но уроки «амбушура» прекратились по случаю того, что отец сделал в каком-то трактире «мордобой» половому из-за селянки. Половой бросился за будочником, а отец – на пристань, откуда тотчас же и уплыл. Очнулся он близ какого-то монастыря. Трогательный звон, сзывавший братию к ночной молитве, сильно подействовал на его отягченную грехами душу; он не понимал, а чувал, что все эти отличнейшие люди, с которыми он беспутничал, – «не то», что с ними для души сделаешь немного, и пожелал очистить душу молитвою. Он вылез на берег, отслужил молебствие и попросил позволения побыть в монастыре для молитвы. На другой же день он нашел отличнейших, задушевных людей; принялся исполнять правило, послушание, стал поститься, <перестал> пьянствовать и желал принять схиму. Один монах продавал было ему за сходную цену вериги и предлагал заковать его в них на веки веков; но отец и тут почуял, что нет настоящего, и кончил дело спасения пьянством, дракой и бегством. Спьяну и сглупу исколесил он всю Волгу. В Астрахани перезнакомился с персиянами, хотел ехать в Персию, учился у них ходить по выпуклой стороне надутых ветром парусов, но упал и разбил бок.

³ «Обучение амбушуру» (амбушюру) – способу сложения губ при игре на духовых инструментах.

Выздоровев, в Персию не поехал потому только, что сошелся очень близко с замечательным силачом из немцев, поднимавшим на одном пальце десять пудов. Этот силач ограбил его и чуть было не убил, так что блудный сын волей-неволей принужден был возвратиться в свое отечество. Это был первый поход за нравственными ощущениями. Он не только не научил отца ценить лавочный рай, но, напротив, заставил еще больше призадуматься о своей незащитной душе. Позанявшись торговлей с полгода, скоро потом он снова сорвался и с деньгами, вырученными от братьев за свою часть в торговле, отчалил с родины – на этот раз навсегда.

Дальнейшие скитания моего отца продолжались более двенадцати лет, отличаясь тою же беззаботностью мечущейся души. Пьянство, как самое существенное средство залить горе своего убожества, стояло, разумеется, на первом плане, перемешиваясь с самыми разнообразнейшими душевными привязанностями: то опять хотелось писать стихи, то поступить в монахи, то сделаться актером. Отец мой всюду совался, всюду тратил последние крохи отцовского наследства, угощая профессионалистов разных художеств, шатался с труппами, приставал к хору певчих – и пил, ибо, едва стакнувшись с какою-нибудь заочно любимую профессиею, чувствовал свое невежество и видел ограниченность дела. В сущности от этих скитаний отец вынес только одно практическое качество: умение играть на гитаре две-три чувствительные пьесы, от которых впоследствии плакала матушка, да еще

внешний отпечаток бродячего человека. Он был небольшого роста, сухощав, с довольно хорошими и добрыми глазами. Костюм его всегда был именно такой, который рекомендует человека без звания и дела: какой-то пиджак с разодранными локтями или бешмет и на ногах опорки, а на голове иной раз появляется изорванной шапка с красным околышем, неизвестно откуда попавшая в нашу сторону... Бороду он брил и волосы носил длинные, за ухо; я помню эти волосы – черные и с большой сединой.

Конец этих бесплодных скитаний, по всей вероятности, был бы для моего отца, оставшегося без денег, весьма плохим, если бы ему не помог выбраться хоть к какому-нибудь пристанищу один добрый человек. Это был какой-то «добрый барин», когда-то погуливавший с отцом: Он случайно встретил отца в Москве, когда последний в отчаянии за будущее хотел продаться в солдаты. Барин взял его с собою в одну замосковную деревеньку и определил садовником, так как отец совался прежде и в это дело. Очутившись в чужой стороне и видя, что выхода не предвидится, да и идти некуда и незачем, отец мой приутих, пообдумал свое положение и занялся делом усердно, а скоро и женился на дьячковской дочери, моей будущей матери. Год они жили покойно, оба занимаясь садовым делом; но после моего рождения отец «заскучал» вновь... В свою сторону выехать было не с чем; отец решился переехать в город, чтобы меня поставить «на настоящую дорогу», если не пришлось самому быть человеком.

Переезд совершился при помощи барина, моего деда-дядька и всего имущества родителей, которое по этому случаю было распродано. В губернском городе, при помощи родственника матери, служившего в одном из губернских присутственных мест, была отведена нам бесплатно земля в подгородной слободке и выстроен крошечный домишко. При доме отец развел питомник фруктовых деревьев, вывезенных из деревни, и по недоразумению думал, что он сам занимается всем делом, тогда как с первого же дня нашего поселения, с первого бревна, положенного в основу домишка, все заботы о нашем питье и еде всею тяжестью легли на матушку, а отец стал скучать, попивать, подумывать о том, что хорошо бы пробраться на Дон («там места!»), и, как уже знаем, браниться. Чужая сторона много помогла усилению этой брани, злости и питью водки. Сторона эта не нравилась ему по многим причинам. Природа здешняя была не та, что на Волге, где он привык видеть широкие виды, богатые места. Рек больших тут не было, лесов тоже; не было тут расписных ставен, петухов и коньков на крестьянских избах, не случалось слышать вновь сочиненной песни, встречать красной франтовитой рубахи: все было мелко, мало, бедно, все утихло, как будто умерло. Взамен всех этих пустяков царствовал один только порядок, который, как известно, в местностях около Москвы вводился почти с незапамятных времен, так что, когда пришлось жить здесь моему отцу, все уже было привинчено к своему месту прочно, туго, казалось, даже на веки веков. Не было людей,

были «породы» чиновников, купцов, господ, мужиков. Всякая порода имела свои зоологические признаки: чиновник непременно ходил сторбившись, был худ, как-то мокр и кожу имел зеленую, дьякон непременно имел бас, священник – тенор и т. д. Породы передавали эти качества из поколения в поколение; вместе с ними передавалось этим поколениям умение исполнять именно те жизненные цели и обязанности, которые соответствовали той или другой породе. Обязанностью мужика было – ждать обиды от всех, говорить одно слово: «за что же?» и пить с горя. Обязанностью чиновника – говорить мужику и другим сословиям: «нельзя!», клеветать со всех крохи и пить от несправедливости. Барин обязан был баловаться и мотать деньги от скуки; купец – мошенничать и угощать. Всем даны были места, отведены стойла с перегородками, удобными лишь на то, чтобы вырвать у соседа из высоко поднятой морды клочок сенца... С этим ли народом, не чувствовавшим, что у него на плечах есть голова, с ним ли возможно было моему отцу водить компанию, дружбу? Ему ли не соскучиться с людьми, не знавшими, что такое «белый свет», тогда как он десятками лет скитаний приучен думать о множестве всевозможных человеческих свойств и отношений? В этой упрощенной стороне отцу моему не с кем было сказать слова, ибо специалисты по «своим частям» не могли ни слова понять в его рассуждениях и сразу стали смотреть на него как на шута, на сумасшедшего...

– Нет, надо, я вижу, убираться нам отсюда, – говорил он

чуть ли не с первого дня знакомства с новыми городскими соседями.

– Полно тебе чудить! Ну куда ты уберешься? – возражала ему на это матушка. – Ишь голова-то у тебя какая непокойная... Куда еще идти?

– На Дон, на Дон надо! Там, брат, ух какие места!

– И-и, сумасшедший! Право, ей-богу, с ума сходишь...

Матушка отговаривала его с тайной боязнью, как бы он не ушел в самом деле: она, наравне с другими, сама считала его отчасти чудаком. Но храбрившийся отец сам чуял, что теперь уж ему не уйти; он уж не один, у него дом, семья; оставить всего этого так, ни за что ни про что – нельзя, и надо терпеть. Он терпел и бранился.

– Ах он, неумытое рыло! – бывало, ворчит он, доставая из шкафа рюмку, чтобы выпить. – Собака я, что ли, что он меня держит в сенцах, а?

– Что ж тебя на диван, что ли, сажать? – возражала матушка. – Он благородный небось!.. Где ж это видано, чтобы мужика рядом с собой...

– Да я его, каналью, к себе бы в дом не пустил, ежели б не бедность. Покажи я ему ассигнацию, так ведь он в ноги ко мне упадет...

– То-то ассигнаций-то у нас с тобой мало...

Отец уклоняется от прямого ответа и все ворчит и бранится.

– Да будет тебе, Христа ради! – говорит матушка, сильно

опечаленная. – Ну что ты ворчишь? Душу только вытягиваешь...

– Свиньи они!

– Тебе какое дело? У тебя все – свиньи, а ты сам-то только водку потягиваешь... Поди-ка, послушай, никак кто-то стучит в сенях... За твоим бормотаньем да руганьем и не услышишь, кто войдет.

Оказывается, что стучит родственник матушки, чиновник.

– Поди, Иваныч, отвори ему, будет водку-то цедить-то.

– Зачем это? Кого это несет?

– Кирилл Кузьмич идет... Отвори же!.. Что ж он, докуда будет на улице-то стоять?

Но отец не особенно торопится.

– Кто его просил? Что я ему за компания? – говорит он, отирая мокрый от водки рот. – Шел бы в свое стадо, в гости-то, а не ко мне... Я ведь для него прохвост... чего ж он сюда?

Наконец, несмотря на неудовольствие, отец впускает гостя; но компании действительно не может составить для него никакой.

Гость здоровается, усаживается и мало-помалу заводит длинную материю о начальстве, о неправдах, несправедливостях, о циркулярах...

– А гражданская палата... во исполнение предписания... Как? а где же, говорю, циркуляр за номером три тысячи пять-

сот сорок седьмым? Каким образом? Нет уж, извините, за правду, за справедливость... я никак не могу!

Длиннейший поток канцелярских новостей льется из уст чиновника, долгое время не переставая. Отец, на лице которого написано полное непонимание и невнимание к чиновничьему монологу, поддакивает из приличия и потягивает водку, которая уже давно на столе. Лицо его все краснеет и наливаются; он начинает кашлять, и даже в коротких звуках поддакивания слышно, что язык его ходит не бойко.

– Па-азвольте сказать... – вдруг прерывая интереснейшее место, до которого только что добрался рассказ чиновника, произносит отец. – Оставьте это!.. Сделайте милость...

– Чего-с?

– Будет! Оставь!.. Что мелешь?

– Я дело рассказываю вам, – обиженно обороняется гость, налегая на «вам».

Отец тупо смотрит в землю и слабо махает рукой.

– Мы твоих дел не понимаем!.. Не нужны они нам! А ты так... свое...

– Я вам не угодил? – в таком случае я замолчу.

– Гов-вори!.. Я нешто... Господи помилуй!.. разве я про это?..

– Я замолчу! – усаживаясь молча на стул, произносит гость, совершенно обидевшись.

– Не надо! Не молчи!.. Утверждай твое мнение! Сделай одолжение!

– Что же я могу? Я говорил, вы не желаете...

– Оставь свою канцелярию... Вот об чем!.. Свои слова говори!

Отец стучит пальцем в стол и пытается постучать для усиления речи ногой и в пол; но нога плохо слушает его.

– Свои слова имеете?

– Какие же у меня свои?

– Не имеете?

Хмельными, неподвижными, как будто необыкновенно внимательными глазами отец смотрит в упор гостю и выжидает ответа.

– Не имеете... слов?

– Авдотья Ивановна, – обращается чиновник к матери, – что им угодно?

Мать давно уже тревожится этой беседой. Чувствуя, что дело идет не к добру, она несколько раз дергала отца за рукав, но тот ничего не замечал.

– Оставь! Оставь пустое! – уговаривала она отца. – Что вы, Кирилл Кузьмич, на него смотрите? Кушайте, закусите, прошу покорно... Оставь ты!..

– О боге... можете? – продолжает отец, придвигаясь к гостю: – а-а бог-ге?.. можете отвечать?

– Что же вам угодно знать о боге? – иронически произносит чиновник.

– Как вы сами...

– Мне кажется, – продолжает в том же тоне гость: – до-

вольно будет знать и того, что мы его должны бояться!

– Бойтесь?

– Что же вас удивляет? Да, боюсь... а рассуждать мне нет времени.

– Поч-чему? По какому случаю опасаетесь?

– Я обязан, как всякий христианин, его бояться.

– Боюсь... боюсь, – бормочет отец: – а-а чем он вас напугал?

– Оставьте его, Кирилл Кузьмич! Кушайте, пожалуйста! – упрашивает матушка.

– Чем он тебя напугал? – вдруг возвышая голос, повторил отец с настойчивостью. – Чем он тебя...

– Нет, уж извините! – поднимаясь со стула, в гневе произносит гость: – я пойду!

– Оставайтесь, пожалуйста! Что вы?.. он всегда такой!

– Чем он тебя напугал? Отвечай мне! – уже вопиет отец на всю комнату.

Чиновник торопится уйти, хватая шапку, палку, прощается, и матушка не смеет удерживать его, потому что отец сел на своего коня.

– Ах вы, мошенники этакие! Ах вы, каналы негодные!.. Д-дела у него! О бог-ге не вр-ремя ему... Стой! Где ты там, железный нос?.. Поди сюда, я тебе объясню... Эй!

– Скотина! – прощается железный нос и исчезает.

– Что-о! Б-бога забыл?.. Я тебя... Я тебя, каналья... Где палка? я тебе покажу!..

Он хочет встать, но матушка не пускает его. Отец никогда не кричал на мать, хотя в ее словах и было к чему прицепиться; он остается на месте, но не перестает браниться и ругаться.

– Ах ты, свиная щетина! Д-дела! По карманам шастать, народ пугать, а душа-то где твоя? Свиныя ты скоромная!

И потом:

– Выели, выели из вас душу! Вынули! Как искусно выхватили-то! – любо два! Ах, так ловко! Ему все одно: бог – не бог, душа – не душа, ему одно свято – канцелярия! перо! Гнать их отсюда, стрекулистов, надо... Нет, на Дон, на Дон иду! Провались ты пропадом...

– Спи-и! Колобродник, когда ты перестанешь! – усовещивает его мать: – Ванюшке не даешь покою.

– Ванюшка! – кричит отец. – Не ходи, брат, в чиновники... чуешь, что ли? Не стоит того дело... Ей-богу! Все они вот что – тьфу! Слышишь, что ль?

– Да слышим, слышим.

– Не ходи, плюнь. Ну – спи!

Бормотанья идут шопотом. На другой день отец мрачен и молчалив, пока не опохмелится и не войдет в колею.

Материал ему всегда есть.

Сидим вечером на крыльце, во дворе, все трое – отец, мать и я. Разговор идет кой о чем. На двор входит новое лицо, одна из соседок, матушкиных приятельниц.

– Здравствуйте!

– Здравствуйте!

– А я к вам бежала. Какие дела-то! Какие смехи! Господи!

Гостья усаживается к нам на крыльцо и, задыхаясь от смеху, распахивает платок, освобождая грудь для того, повидимому, чтобы с полным простором рассказать про какие-то дела и смехи.

– Что такое? – спрашивает отец: – в чем дело?

– И-и, то-то смех-то, господи. Комнату мы сдавали... Знаете?

– Ну?

– В прошлом годе жил писец, а ноне бог послал генерала.

– То-то сласть-то!

– И сласть, уж именно сласть! Отставной этот, милые мои, генерал-то. Одинокий, родни не имеет и холостой. Вот он, милые мои, нанял комнату, переехал, сидит. Сидел-сидел, видно, его скука взяла, вышел, походил так-то. «Это что же, говорит, бочка у вас с водой не накрыта?» Отвечаем: «была, мол, накрыта, да, верно, накрышку-то взял кто-нибудь». – «Кто взял?» – «А не знаем». – «Как не знаем? Кто взял? Ты как смел взять крышку?» Дальше-больше, открыл он против нас чисто как битву. «Это что?», «Почему так?», «Чьи куры? Загнать! Запереть!»

– К команде приучен, – замечает отец.

– К команде, уж точно! Закомандовал он нас, просто вот хоть возьми да иди за будочником, чтобы его уняли. Ворочает с места на место – смерть наша пришла, руки все обло-

мали; пошла я к зятю, призвала его к себе, говорю: «Поди ты, усовести его, что это такое?» Зять к нему. «Так и так, говорит, сделайте милость, ваше благородие, уж вы это оставьте. Мы вам власти не давали над собой, и, сделайте милость, уж вы нас не беспокойте. У вас есть свой упокой, так вы уж тут... А в наши места оставьте... Даже в случае чего, мы и в суд... Извините!..» Обругался всякими словами, ну, однако, остался...

– А-а! – с удовольствием произносит отец. – Остался? Ну-ка, что он без команды-то может? Ну-ко, ну!..

– Ну остался он, сидел, сидел, призывает... «Хочу, говорит, приплатить еще рубль серебром, только чтобы в саду бы мне вашем гулять». Посоветовались мы, руб взяли: – «извольте!» А мы сад запираем, потому неравно зайдет корова или коза, пожрет фрукт – нам этого нельзя. Хорошо! Пустили его мы в сад. Погулял он, пришел назад. И на другой день пошел. Идет оттуда. «Червь, говорит, у вас там...» – «Есть, мол; от него не спасешься». – «Как не спасешься? Почему?..» – «Много, мол, его...» – «Я выведу!» – «Нет уж, говорю, лучше вы оставьте».

– Опять его на команду потянуло! – замечает отец.

– Потянуло, друг, потянуло!.. Ну – скрыл. Замолчал. На третий день и не видала я, как он туда ушел-то. Иду так-то мимо саду, вижу, замок изнутри висит. «Когда ж это, думаю, он туда пролез?» И час и два, все нейдет. Пошла я поглядеть, уж нет ли какой его выдумки? – а он... (тут рассказчи-

ца задохнулась от смеха) а он... на дереве, милые мои, на самой-то верхушке, на эдакой на страсти, на высоте, с тазом. Сидит там с мочалой да моет дерево, ровно бы чашку чайную либо тарелку. Замерла я так-то со смеху, зову его оттуда назад: «Что вы, говорю, господин генерал, всё вы нам переломаете; так нельзя. Слезайте оттуда. Отопритесь, сделайте милость. Что вы!» Нет! Ни словечка – сидит, притаился с мочалой, ровно белка. Собрались мы все, стали стыдить. Стал ругаться оттуда: «Сволочь» – и так и эдак, а сам намажет мочалку мылом до по суку и трет... То-то смеху-то было! То-то смеху-то! Насилу, насилушки слез!.. Ну мы ключ отняли у него, потому, лазучи по сучьям, много он фруктов посшибал.

– Ну и что же? теперь-то как?

– Чижа учит воду таскать!.. Всеобщий смех.

– Ай без команды-то деться некуда нам? Небось завоешь... Вот и генерал!

– Уж генерал! уморушка, да и только.

– Д-да! Мы и в генералах не были, а пожалуй, что не полезем с мочалкой на дерево. Плохо, плохо ему без команды-то!.. Ванятка! не ходи, брат, в генералы! Видишь, как ему пришло? Не ходи... Лучше прямо полезай на дерево. А то вот он все слушался-слушался, палил-палил, бил-бил по приказу, а себе-то и нет ничего! Слышишь, что ли?

– Слышу!

– То-то. Плюнь. Не ходи. Так чижей?

Рассказчица смеется, тряся наклоненной головой.

– Вы бы его, – предлагает отец, – женили бы на вашей на Федорихе? Ей теперь годов семьдесят есть, поди?

– Боле, куда!

– Ну самый раз ему! А не то и так в любовь войдут со скуки. – Где ее, взять команду-то, нету ее... отняли! Куда-нибудь душу-то деть надо...

Поутих наш хохот над этим эпизодом. Отец скрылся на несколько минут в дом и, выходя оттуда, что-то побряхтывает и пожевывает.

– Ты, что ль, Иваныч, давеча про любовь, что ли, говорил? – начинает гостя, обращаясь к нему.

– Я говорил. А что за беда?

– Никакой беды, а ты вот про генерала в шутку сказал, чтобы слюбились они, например, в шутку с старухой... вот мне и пришло в голову... Беда с ней, любовью-то!

– Как не беда, – насмешливо соглашается отец. – У вас, в вашей стороне, все беда. Вот ее родственник (отец кивнул на мать), так того, что ни спросишь: – все «боюсь» да «боюсь»!

– Ах, нельзя, нельзя так!.. Я что вспомнила. Влюбился у нас, сударики мои, чиновник, вдовый и почтенный человек, в женщину... Так страсть как измучился!.. Первым делом, как там они сдружились, прости господи, вошло им обоим в голову написать какую-то, милые мои, клятву на образе.

– Зачем же так-то?

– А уж не умею сказать. Со страху, что ли, они или как.

И женщина-то, прости господи, тоже, надо быть, с робости – прачка она – не шла без клятвы-то. «Напиши, говорит, на образе». Ну чиновник сначала упирался, думал как-нибудь так, опасался, как бы чего не было худа... отвертеться. Однако написал.

– Написал?..

– Д-аа! «Написал, говорит, я (сам он это все рассказывал), и обуял, говорит, меня страх... Такой страх, такой страх...»

– Да что же они, дураки, там писали? Зачем? – волнуется отец. – Ах, шуты гороховые, и этого-то дела не сумеют сладить!

– Не умели, не умели, истинное слово! Не мне их учить, а нет, не умели. «Написал, говорит, я эти самые на образе слова и весь испужался»: И она-то, милые мои, тоже испугалась, и она-то в испуге. «Что это мы, говорит, написали, об каком деле?..»

– Ах, шуты гороховые! Али своего дела не знают?

– «Дрожим мы, говорит, от этих мыслей, ровно бы вот сейчас гром нас обоих расшибет вдребезги». Стали они друг дружке: «Это все ты!» – «Нет, ты!» Какая тут любовь, а чистая одна смерть. «По ночам, говорят, глаз сомкнуть не можем»; дело свое канцелярское чиновник совсем позабыл, стал пить, стали ему мерещиться угодники, и всё с угрозами. «Пойдешь, говорит, после обедни прикладываться к образам; к одному приложишься, думаешь: «а вот этот осердится, что я к нему не приложился». И к другому приложишься,

а там, глядишь – третий...» Что ж, милые мои? Весь народ уж давно из церкви разошелся, а он все по иконостасу лазает. Придут дьячки, насилу-насилу его стащат оттуда.

– Ну что ж с ним? Утопился, что ли?

– Нет, не было этого, сохранил его бог! Пришло ему от этого согрешения совсем плохо. «Вижу, говорит, что нету мне житья никакого, ни сна, ничего нету; помолился я богу, пошел к протоиерею, говорю: «Так и так, батюшка. Разрешите меня от этого. Смерть моя! Снимите с меня клятву». Рассказал ему, как было дело. «Спасите», говорит. Священник подумал, подумал...

– Умен, должно быть, батюшка был?

– Умный, умный был, говорить нечего! «Нет, говорит, не могу».

– Какой умный!..

– Да-а! «Нет, говорит, нельзя, не могу. Мне самому за это может быть дурно».

– Очень плохо! – вставляет отец: – как же? Бедовое дело!

– Бедовое, бедовое, друг! «Нет, говорит, не могу». Просил, просил его чиновник-то, ничего не выпросил, так и ушел ни с чем. Что тут делать?

– Ну-ко?

– Совсем хоть топись – так пришло. И вправду ты давеча говорил, именно бы ему утопиться; да, счастлив бог, попался ему какой-то добрый человек, монах, шел он из Иерусалима. Разузнал это дело. «Я, говорит, вам могу оказать пособие».

Потребовал он, милые мои, мочалку чистую, расчистую...

– Чистую? – трунит отец.

– То есть вот самую что ни на есть! Потребовал он эту мочалку, налил святой воды, помолился и всю эту клятву и спорхнул с маху с одного. «Тут-то, рассказывают, мы дрожали, господи!» Того и гляди гром расшибет; а как отмыл мочалках-то – ну уж тут...

– Ах, черти, черти! – бормочет отец.

– Прачку эту он сейчас вон, прочь! «Иди с глаз долой!»

– А она-то?

– Да и она-то рада развязаться. Ушла, рада-радехонька... «Ну, мол, тебя и с любовью с твоею!» Так вот она какая любовь-то! Насилу-насилу кой-какое худенькое местешко выпросил. Вот как!

– Ах, поганые!

– Ведь она – солдатка, – робко вставляет матушка.

– Так что же?

– Ну а он – чиновник.

– Ну?

Отец так произносит это «ну», что матушка совсем сконфузилась.

– Вот и все. Что «ну»? – тихонько произносит она.

– Что ж что солдатка?

– Действительно, что ему может быть обидно, – желая поправить матушкину оплошность, вставляет рассказчица-гостья.

– Вам, я вижу, все обидно. Вчера вот о боге заговорил – обида, про любовное дело – тоже. Шут вас знает, зачем вы только живете на свете? Я не вас, не вас... Что вы? Я про этих, про ваших жителей. Ни бога ему, ничего не надо.

– Нет! – слышу я вечером, лежа в постели: – на Дон уйду! Уйду я отсюда... Монах его спас! От любви!.. Выели душу из вас, выели... Нету ее!

– Спи, спи, христа ради! – уговаривает матушка.

– Уй-ду! Уйду, то есть вот только до весны!

III

В планах на это бегство к Дону прошла одна весна, другая и третья.

На Дон отец не ушел и на четвертую весну умер. Мне было тогда семь лет. И хотя я не мог вполне понимать отцовскую брань, хотя эту брань, получившую более определенное направление в городе, я слушал не более трех лет, тем не менее она сложила мою будущность навсегда. Мне предстояло жить по смерти отца в том же неприятном ему городе и пришлось бы непременно попасть в то или другое стойло, стать в ряд той или другой породы, пропитаться теми или другими «заказными» идеями. Матушка, помнившая завет отца и причину нашего переезда из деревни в город, то есть желание вывести меня «на настоящую дорогу», по всей вероятности не пощадила бы трудов (она и действительно никогда не щадила их), чтобы я мог завоевать себе счастье лавочного сидельца, даже купца, чиновника. Но отцовская брань в самом корне подорвала эти надежды. Я тысячи раз видал, как благодаря отцу богач купец оказывался дураком, чиновник – совсем безумным. Я очень хорошо помню одну минуту в своей жизни, именно когда я вышел весной, после долгой лихорадки, на улицу. Минута эта могла быть приготовлена только «бормотаньем» отца.

Направо, на высокой горе, стоял город, весь в зеленых са-

дах; налево, вдали, на краю низкого луга, где расположилась наша слобода, виднелась узкая полоска неширокой и неглубокой речки. Я мог бежать куда угодно, туда или сюда. Но фигура города – я очень помню это – как бы оттолкнула меня: так много дурного было о нем в речах отца; все, что он ругал и бранил, все, что мне вследствие этой брани было во все неинтересно, было там, в городе... Я теперь могу объяснить этот толчок, который ощутило сердце при виде города, тогда я просто побежал со всех ног в другую сторону от него к реке. И с этого дня будущий путь моей жизни был решен.

– Эй, эй! мальчишка, упадешь, упадешь в воду!.. – окликнули меня какие-то голоса, когда я опрометью разлетелся к реке. Я остановился.

– Купаться, что ль, бежишь? Рано! Кто теперь купается? – говорил мне какой-то седенький старичок.

Он сидел с удочкой в руках; шапка, кувшин, заткнутый тряпкой, и сапоги стояли подле него на земле; сам он был в калошах и рваном халате.

– Ты раков ловить прибежал?.. Так, что ли? – спросил меня собеседник старика, молодой худенький, с грустным лицом мещанин.

– Нет, – отвечал я обоим: – я так...

– Ты вот что, возьми-ко вот эту байку да нарой туда червей... Рой вон под камнем... Молодец будешь. Я, брат, сам тебе услужу...

Я с удовольствием исполнил эту просьбу, выучился, как

рыть червей, и когда доставил, то старичок сказал:

– Вот, брат, спасибо! Садись теперь, отдыхай!

Я сел.

– Д-да! – повидимому продолжая прерванный разговор, начал старичок: – теперь пусть-ко они меня поищут... Пускай!

– Образованные – сказал мещанин с иронией.

– Д-да! Найди-ко вот, куда отец-то необразованный ушел. Разыщи!.. Отец ведь дурак, невежа... Ну и пусть!

– Мудрены больно, – прибавляет мещанин и вздыхает.

Вздых этот, как оказалось впоследствии, относился к личным несчастиям мещанина.

– Не такой я человек, чтобы кривить душой! – продолжает старичок с тем задушевым волнением в голосе, которое показывает человека мягкого и доброго. – Бедны мы? – так вы трудитесь! Что вы за королевы? Что такое «мы благородные»? Трудись! Тебе дал бог ум, а вы хвосты трепать, папироски? Нет, матушки!.. У меня, может, сердце разрывается, гляючи, как вы мыкаетесь за разными щелкоперами, – а уж душу я свою соблюду. Я поработал, нету толку, бог с вами! Живите одни!..

– Пушай попробуют... отведают!..

– Д-да. Сватался часовщик. Чего еще? Мало нам! «Мужик, невежа!» Ну как угодно!.. Не желаете рук марать, кусок хлеба заслужить, живите с благородными, пока держат... А грабить, да кляузничать, да пороги обивать, «дескать, помо-

гите», – нет, этого не будет! Не такой я человек! У меня отец в остроге за правду умер; бог с вами!.. Мне от вас ничего не надо... Чтобы через ваше распутничанье места доставать? – плевать мне и на места! Тьфу! Вот они мне что... Буду вот сидеть под кустом да рыбу ловить, ничего мне не нужно... Ничего!.. Тебя как звать-то? – обратился старик ко мне. Я сказал.

– Буду вот с Ванюшей... Ты ходи сюда. Будешь, что ль, ходить сюда?

– Буду!

– Мы с тобой, брат, тут как заживем-то! В золотых каретах приезжай – не поедем... Так, что ли?

– Так.

– Уху заварим – держись!..

Картина была изображена старичком пленительная.

– И отлично! – подтвердил мещанин. – Где тут кабачок у вас, почтенный? Я бы мало-мальски прихватил.

Старичок указал и крикнул вслед удалявшемуся мещанину:

– Больше полштофа не хлопочи. Будет!

– Н-ну!.. – протянул мещанин и скрылся.

В ожидании его старичок сидел почти молча и только изредка говорил про себя: «и отлично, хорошо так-то... Плевать я хотел...» Говоря так, он не спускал глаз с поплавок, как будто бы именно в нем обрел он это отличное и хорошее.

– Ты приходи, смотри! – шептал он иногда и мне.

Пришел мещанин. Выпили. Старик выпил умеренно, поел хлеба, перекрестился, поблагодарил и прилег на бок полежать. Удочку его с удовольствием держал я и получал указания, как поступать с ней. Мещанин все попивал по стаканчику; но лицо его было все-таки грустно. Иногда он про себя шептал: «пущай!» и выпивал еще стаканчик. Но вдруг он как-то раскис и внезапно повеселел.

– Да что же мне-то? – воскликнул он. – И превосходно! Сяду вот тут и буду сидеть. Почтенный! – обратился он к старичку.

– Что ж? – начал тот.

– Ей-богу! Что мне? Куплю (чтоб вам всем) удочку, залягу, знать никого не хочу! И богатое дело выдумал ты, старичок, пра-во! Ну, куда мне теперь! Никуда я не желаю!.. Не имею интересу, лучше же я тут возьму да лягу.

– Именно, брат, лучше!

– Именно превосходно! Про что же я-то? Из-за чего меня погубили! а!.. Я тебе вот что объясню... – У меня живет старушка маменька... (При слове «маменька» у мещанина появились слезы.) Ну, бог с ней! Я именно что любил ее, сердцем, потому она мне мать! Сколько она талек за меня господам переносила, чтобы меня в ученье отдать! Господи! Слепенькая! Бывало, все эти тальки на стол господам кладет, эво поскольку; и день и ночь, и день и ночь... все сидит, слепнет (опять слезы; мещанин замолкает, утирает их рукавом и потом продолжает). Отдали господа в ученье... На второй год

посылаю маменьке денег... На третий хозяин говорит: «Поезжай, Аркадий, в Киев... Я тебе доверяю, заправляй всем. Там у меня жена и дочь, держи себя аккуратно!» (Мещанин плачет.) Увидал я дочку-то, как вот ровно оторвалось сердце у меня... Ангел, одно слово, купидон! Какое мое было старание, двужилная лошадь того не сработает, а я делал, потому, видишь ты: иду я из лазки в кухню, а она на крылечке стоит: «Аркадий, подойди... Держи себя аккуратно, я тебя люблю, я у родителя испрошу на брак согласие...» Как это слышать? Так я как бешеный для ней готов был... Хозяин пишет: «В удивлении, говорит, я от твоих забот, и благодарю, и не забуду...» Ладилось мое дело, почтенный человек, лучше не надо бы; уж насчет дочери-то родителям стало известно, только бы меня испытать мало-мальски, хоть еще годик... «Не уйдет, говорит она-то, Аркадий, наше дело, только крепись...» Хорошо ли было али худо?

– Чего уж еще!

– Вот как было хорошо, вот как хорошо! (Мещанин заплакал и продолжал со слезами, которые сыпались из его глаз поминутно, несмотря на то, что он их утирал.) Глядь-поглядь – несут письмо. Пишет мать: «Стара я, слаба стала, старушка. Одна-одинешенька, нету у меня ни роду, ни племени, один ты у меня! приезжай ко мне, утешь! Я тебя хочу женить и невесту нашла...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.